

ТАРТУСКАЯ ШКОЛА 1960-х ГОДОВ КАК СЕМИОТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.

А в ненастные дни собирались они часто.

В этой статье я не буду касаться непосредственных и более отдаленных источников, из которых вышла семиотика и структуральная поэтика 1960-х годов; об этом уже немало написано.¹ Предметом моего интереса является «знаковый» аспект этого научного движения; я хочу показать, в какой мере и в каком смысле семиотические исследования представляли собой культурный «текст», выразивший дух своего времени.

Глядя на имена тех, кто активно работал в 1960-х - начале 1970-х годов в рамках научного направления, получившего название «Тартуской», или «Тартуско-Московской» школы структуральной поэтики и семиотики,² легко увидеть, что лишь небольшую часть этого многочисленного и многостороннего по своим интересам научного сообщества составляли эстонские и русские ученые, непосредственно связанные с Тартуским университетом. Большинство его участников жили и работали вне Тарту и Эстонии - в Москве и Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ереване. И тем не менее, есть некоторая «знаковая» закономерность в том, что именно Тартуский университет и его кафедра русской литературы (в те годы возглавлявшаяся Ю.М. Лотманом) сделался центром многочисленных больших и малых конференций и изданий, в которых оформилось и выразило себя это научное движение.

Господствующим духом движения, в особенности на первоначальной его стадии, был строгий профессионализм, чуждавшийся широких социальных и общекультурных контактов с внепрофессиональным «внешним миром». Тем не менее, и общий дух Тартуской школы, и обстоятельства ее формирования имели прямое отношение к социальному и психологическому климату эпохи. Сама тенденция к герметическому замыканию и удалению из русской языковой и культурной среды несла в себе явные социальные и психологические обертоны. В этом смысле, школа семиотических исследований сама была выразительным семиотическим феноменом. Направление ее исследований и внешние формы работы, стиль научного общения ее участников и нормы их общежитейского поведения и взаимоотношений представляли собой своего рода семиотический «код», имевший определенную знаковую

ценность в рамках той культурной эпохи, в которую этот код формировался и функционировал.

Уже начиная с 1950-х годов, Балтийские республики в целом, а Эстония и Тарту, пожалуй, в наибольшей степени, сделались местом притяжения для определенной части русской интеллигенции. Традиции академических свобод и интеллектуальной независимости, делавшие Дерпт уникальным явлением в русской академической жизни еще в прошлом веке, в значительной степени сохранялись в Тарту 1950 - 60-х годов. Здесь собирались те, для кого наступившая в это время «оттепель» открывала возможность эмансипации, если не от официальных институций, то по крайней мере от официально санкционированной системы интеллектуальных ценностей. Разумеется, лишь немногие имели намерение, да и возможность, переехать в Эстонию; но и для тех, кто продолжал жить и работать за пределами тесного тартуского сообщества, систематические поездки в Тарту и погружение в этот мир стали необходимым духовным опытом. Сам факт наличия этого особого мира давал ощущение внутренней независимости, возможности выхода в духовное пространство, защищенное от враждебной среды, - ощущение, жизненно необходимое в условиях неуверенного и нестабильного интеллектуального размораживания, которое происходило в эти годы.

Представители академической русско-язычной и эстонской интеллигенции, из которых образовался круг участников Тартуских конференций, принадлежали к разным (в основном, гуманитарным) профессиям: тут были лингвисты различных направлений, историки и теоретики литературы, специалисты по фольклору и мифологии, этнографы, историки, психологи, математики, логики, искусствоведы. Это были люди различных поколений, занимавшие различное положение на официальной академической и социальной лестнице. В рамках формировавшегося в Тарту сообщества все эти различия становились несущественными, как бы выносились за скобки. Существенным критерием оказывалась, превыше всего, особая психологическая предрасположенность, система духовных и социальных ценностей, объединявшая членов сообщества и делавшая возможным их общение, поверх всех социальных и профессиональных различий.

Важнейшей категорией психологии и поведения «тартуских» ученых той эпохи представляется мне чувство отчуждения. Для ученого этой психологической формации было характерно глубокое недоверие к тому, что его окружало - не только к официальным учреждениям, но даже к традиционным предметам научных занятий, общепринятому научному языку, формам общения с коллегами. Дух поздне-сталинской эпохи проявлял себя отнюдь не только в прямом идеологическом

давлении; его отпечаток можно было заметить и в таких проявлениях профессиональной и культурной жизни, которые, казалось бы, не были прямо связаны с идеологией и принадлежали научной и культурной традиции. Этот отпечаток узнавался в характере мыслительных ходов и ассоциаций, в общеупотребительной фразеологии, в границах привычно используемого материала и референтных полей. Освобождением от этого должна была стать не «перестройка», но отчуждение и уход; не перестройка, но строительство заново, как бы на пустом месте. Интеллигент «тартуской» формации искал средства отделить себя от контекста, найти и отгородить свободное, неприкрепленное к «почве» духовное пространство - поскольку все «обитаемое» пространство культуры было заражено, - с тем чтобы на этом пространстве построить свой особый мир. Однако разрыв «тартуского» интеллигента с обществом имел преимущественно интроспективный характер. В его основе лежало не стремление требовать и добиваться чего-либо от общества, но напротив, желание быть «забытым» обществом, оставленным в покое на отвоёванном духовном плацдарме.

Одним из факторов этого внутреннего отчуждения была ярко выраженная «западническая» ориентация интеллектуальных движений периода «оттепели». Знание (хотя бы пассивное) иностранных языков, чтение иностранной профессиональной и художественной литературы, популярных книг, журналов, было важнейшей категорией поведения и важнейшим фактором социальной селекции в описываемом кругу. Все поступавшие из-за границы профессиональные издания циркулировали по рукам в кругу «своих», отсылки к иностранным авторам составляли важную часть едва ли не каждой работы, последний выпуск международных лингвистических и семиотических журналов ("Linguistics", "Language", "Semiotica") значил неизмеримо больше, чем последний выпуск «Вопросов языкознания» или «Вопросов литературы». Стремление преодолеть искусственную изоляцию от западного мира, возникшую в предыдущие двадцать лет, было, конечно, вполне естественным. Но был в этом направлении умов и «знаковый» элемент; напряженный интерес к тому, что находилось за пределами «своего» обитаемого мира, был одним из психологических инструментов отчуждения. Ученый, вовлеченный в этот процесс, естественным образом терял общие интересы и даже общий научный язык со своими непосредственными коллегами по кафедре или лаборатории, которых этот процесс не затрагивал.

Следует подчеркнуть, что этот запредельный «западный мир», в основном, оставался по-прежнему закрытым. Образ этого мира, возникший на основе избирательных и искусственных каналов информации, носил во многом иллюзорный и утопический характер. В следи-

фической обстановке духовной эмансипации и физической несвободы, характерной для конца 1950 - начала 1960-х годов, апелляция к «Западу» помогала не столько выйти в широкий мир, сколько уйти из непосредственно окружающей среды. Независимость достигалась не внешним освобождением, но внутренним замыканием.

Этой психологической установке идеальным образом отвечала атмосфера Тарту: удаленность от крупных административных центров, необычный, с точки зрения русского интеллигента, стиль повседневной и академической жизни, «западный» ореол города и его обитателей. Сам языковой барьер оказывался, в этих обстоятельствах, важнейшим позитивным фактором; он усиливал герметичность русско-говорящего сообщества ученых.

Специфическая тартуская атмосфера действовала как мощный и безошибочный механизм социальной и психологической селекции. Человек «почвеннической» психологической установки, тот, для кого живые связи с широким контекстом современного общества значили в ту эпоху больше, чем внутренняя эмансипация, был бы не в состоянии погрузиться в герметический «тартуский» мир и ощутить его стимулирующее воздействие. Тем, кто встречался на тартуской почве, было легко опознавать друг в друге сходную систему ценностей. Сам факт стремления в Тарту, способность и желание принять этот специфический модус существования, был важным диагностическим признаком.

Основной формой работы Тартуского сообщества стали семиотические конференции, созывавшиеся регулярно, раз в два года, под несколько загадочным (для непосвященных) названием «Летняя школа по вторичным моделирующим системам»; всего, с 1964 по 1973, состоялось пять таких «школ». Конференции происходили во время летних каникул, поэтому участие в них не получало официального оформления: никто не приезжал на летнюю школу с «командировкой» от своего учреждения. Сам факт созыва конференции был известен только в узком кругу. (Существовал круг постоянных участников школ; к этому ядру каждый раз добавлялись, на основе личных контактов, новые участники, некоторые из которых впоследствии получали «постоянный» статус).

Летние школы проходили на спортивной базе университета, в местечке Кяэрику (Kääriku) на юге Эстонии, окруженном лесами и озерами. Эти условия естественным образом ограничивали круг присутствовавших. Непосвященному было крайне трудно узнать о школе и времени ее проведения, а узнав - физически невозможно на ней присутствовать.

Заго для «посвященных» формат летних школ имел огромные преимущества. Несколько дней совместной жизни, отгороженной от внешнего мира, создавали интеллектуальную атмосферу, уникальную по своей интенсивности. Собравшееся на загородной базе общество (несколько десятков человек) составляло «чистую» среду, отделенную от контаминации с внешним миром. Все участники хорошо знали друг друга, все разделяли общий научный язык; все готовы были, на основе этого общего языка, разделить идеи и интересы друг друга, - как бы далеко эти идеи ни располагались с точки зрения традиционного разделения научных предметов и специальностей. В этом идеальном коммуникативном единстве стирались границы между «жизнью» и «наукой», между дискуссиями в аудитории и дружескими разговорами. Конечно, за пределами Кяэрику каждый из участников вел профессиональную и социальную жизнь, характер которой не мог не отражать в себе взаимодействия с внешней средой; но съезжаясь раз в два года в Кяэрику, участники «летней школы» погружались в герметический мир, характер которого целиком определялся его собственным профессиональным и поведенческим языком.

Основным изданием, в котором публиковались работы участников семиотической школы, стала серия «Труды по знаковым системам», начавшая выходить в 1964 году (это издание продолжается до настоящего времени; его формат, однако, существенно изменился, начиная с середины 1970-х гг.). Серия выходила в рамках «Ученых записок» Тартуского университета (*"Acta et commentationes universitatis Tartuensis"*) - малотиражного академического издания, не поступающего в книжные магазины (приобрести том можно было, только послав заказ непосредственно издательству Тартуского университета). Редакторы и авторы «Трудов» не только не сожалели об этом, но даже гордились малой доступностью издания. Спрос на «Труды» был велик, и в Советском Союзе, и за границей, но «посторонний» читатель практически почти не имел к ним доступа.

Герметизм научного сообщества поддерживался также принятым в его кругу эзотерическим научным языком. Язык, на котором говорили и писали «тартуские» ученые, был насыщен терминологией, имманентной семиотическим исследованиям и не употребительной за их пределами. Многие выражения этого особого «семиотического» языка создавались членами группы и имели хождение исключительно в их общении друг с другом. Очень много слов представляло собой прямую транслитерацию иностранных терминов, не употреблявшихся в русскоязычной научной традиции, что придавало этому эзотерическому языку характерно «западнический» оттенок. В идеале, эти коллективные

усилия, сознательные и бессознательные, вели к созданию «чистого» семиотического языка: с одной стороны, единого для всего поля семиотических исследований, а с другой стороны, отделенного от «внешней» научной традиции.³ Владение этим имманентным языком обеспечивало общение внутри сообщества и преграждало путь постороннему. Член семиотической школы свободно понимал работу, изложенную, устно или письменно, на языке школы, как бы далеко ни отстоял предмет этой работы от его собственных знаний и интересов; «посторонний» испытывал значительные трудности в понимании семиотической работы, даже если она относилась к хорошо ему известному и интересующему его предмету.

Описываемый мною «поведенческий код» Тартуской школы сложился в силу вполне определенных внешних причин. Степень интеллектуальной независимости, открытость научных поисков и дискуссий, достигнутая школой, была возможна только при условии обособления ее от официальной научной жизни. Поведенческая стратегия, на основе которой происходил отбор и общение в рамках семиотической школы, была оправдана внешними обстоятельствами, и участники движения хорошо это понимали.

И тем не менее - приспособление к внешним обстоятельствам было лишь предпосылкой к возникновению такой системы мышления и поведения. Ее формирование было связано не только с внешними, но и с внутренними причинами. Члены тартуского круга погружались в ими же созданную замкнутую среду не против своей воли, не только подчиняясь внешней необходимости. Изолированность сообщества отнюдь не вызывала неудовлетворенности, сожаления о том, что никакие более открытые формы его деятельности невозможны. Напротив, погружение в «чистую» среду герметического общения ощущалось как позитивный опыт. Объяснить это можно только тем, что формы существования сообщества были не механически ему навязаны извне, но адекватно выражали направление умов его членов, их коллективную профессиональную и психологическую ценностную установку. Существовала глубокая связь между научным направлением, на основе которого возник семиотический подход к изучению культуры, с одной стороны, и внешними условиями существования семиотической школы в 1960-е годы - с другой.

Основным методологическим стержнем семиотических исследований, который в 1960-е годы объединял всех членов школы, явилось представление о дуалистическом бытии всех проявлений культуры, в основе которого лежало противопоставление «языка» и «речи» (*langue vs. parole*), сформулированное применительно к языку Ф. де Соссюром.

Согласно такому подходу, любая наблюдаемая нами форма деятельности людей в обществе - будь то общение на вербальном языке, создание и восприятие произведений искусства, религиозные обряды и магические ритуалы, формы социальной жизни и повседневного поведения, моды, игры, знаки личных взаимоотношений и социального престижа - представляет собой вторичный феномен: «речь», или «текст». Всякий текст построен на основе некоей абстрактной, скрытой от непосредственного наблюдения системы правил - «языка», или «кода». Любой акт поведения в известной культурной среде представляет собой высказывание на определенном культурном языке; чтобы успешно общаться в рамках культурного сообщества его члены должны владеть «кодами», принятыми в этом сообществе. Только знание соответствующих кодов позволяет члену сообщества порождать правильные культурные «тексты», имеющие смысл для носителей данного культурного языка, и понимать предлагаемые ему «тексты», оценивая их как правильные или неправильные, осмысленные или бессмысленные, граффаретные или новаторские. Сам факт отклонения высказывания от принятого кода получает свой смысл лишь в силу знания базовых правил, от которых это высказывание отклоняется; тем самым, нарушение кода оказывается негативным случаем его применения. Ни один текст культуры не может быть адекватно прочитан путем простого эмпирического восприятия и наблюдения; для его понимания необходимо либо интуитивно владеть соответствующим культурным языком, либо реконструировать его в научном описании, то есть построить его «грамматику».⁴

Система правил, образующая код, составляет замкнутое в себе структурное единство, все компоненты которого закономерным образом соотносены между собой. Чтобы реконструировать это идеальное, абстрактное единство, лежащее по ту сторону физического бытия предмета, необходимо отвлечься от ситуационных, конкретных и преходящих факторов, присутствующих в любом реальном акте общения: таких, как воздействие окружающей среды, динамика ситуации, характер участников общения, их жизненный опыт, цели, настроение, динамика их взаимодействия друг с другом и с окружением. Внимание исследователя сосредоточено на том, какой эффект производит данный текст на слушателя при соотношении его с определенным кодом культурного поведения, которым этот слушатель владеет. С этой точки зрения, все перечисленные выше «внешние» явления представляются второстепенными, - какую бы роль они ни играли в создании действительного эффекта, производимого реальным сообщением в конкретной обстановке. Предполагается, что структура кода определяет некоторые фундаментальные параметры в восприятии текста, «моделирует» текст опреде-

ленным образом, - до и вне конкретных обстоятельств, в которых этот текст выступает в обществе. (Некоторые из этих внешних факторов могут включаться в описание, в абстрагированной форме, в качестве «прагматических» параметров кода).

Абстрактный и имманентный характер кода естественно наводил на мысль об униформности строения различных культурных языков. Такая генерализация различных конкретных кодов имела двоякую направленность. С одной стороны, открывалась возможность говорить о культуре в целом как о «макросистеме», или «системе систем», в которой каждый конкретный аспект культурной деятельности выступает в качестве частного механизма (подсистемы), взаимодействующего с другими механизмами в составе всего культурного устройства в целом. С другой стороны, получила мощную реализацию идея (высказанная в свое время Соссюром) об единстве структурных принципов, на которых основывается любая система знаков, функционирующая в обществе, и о вытекающей из этого возможности построения универсальной теории знакового кода. Все культурные языки выступают на фоне этой всеобщей семиотической мета-структуры как ее частные реализации; понимание устройства каждого частного языка в такой же степени моделируется его отношением к абстрактной семиотической мета-структуре, в какой любой конкретный текст моделируется соответствующим ему языком. Этот вторичный, производный характер всех частных семиотических языков, функционирующих в обществе, отразился в том наименовании, которое они получили в работах Тартуской школы: «вторичные моделирующие системы».

Нетрудно увидеть параллелизм (или, говоря семиотическим языком, «изоморфизм») между принципами семиотических исследований и описанными выше социальными и психологическими обстоятельствами, при которых сформировалась и работала семиотическая школа. Отметим, прежде всего, уход от субстанции культуры в условную реальность, имманентную по отношению к внешним условиям ее реализации. Эмпирическая реальность общения и взаимодействия между людьми в рамках культурного сообщества представляется при таком подходе неприятным хаосом, которому исследователь должен преградить путь в своем описании. Герметическое закупоривание предмета исследования понималось как необходимый принцип, без которого невозможно достичь требуемого уровня научной обобщенности и последовательности описания. Что истинно научное описание должно быть непременно обобщенным (то есть потенциально покрывать множество различных предметов, - в идеале, все и всяческие предметы) и последовательным, или «непротиворечивым» (то есть быть самодоста-

точным и закрытым в своей целостности, - в идеале, полностью выводиться из исходных принципов), - казалось данным раз и навсегда, как аксиома. Ценность этой аксиомы никак не соотносилась с эмпирическими свойствами изучаемого предмета и с тем, насколько интересными (опять-таки, чисто эмпирически) могли быть результаты, получаемые на основе ее применения. Вопрос об интересности отдельных частных результатов как бы отступал на второй план. Каждое отдельное описание воспринималось как «манифестация» исходных общих принципов и тем самым включалось в единую парадигму с множеством других описаний. В этой парадигме новаторские анализы, вносявшие существенно новое в понимание предмета, соседствовали с простым переписыванием имеющихся сведений на униформный язык семиотического описания. Как бы ни ощущалось различие между ними в чисто «жизтейском» смысле - на уровне «кода» семиотических исследований, все они выступали в соотнесенности между собой, в качестве частей единой системы. Утопическое стремление к единству, всеохватности и все-соотнесенности явлений явно преобладало над интересом к каждому явлению в отдельности.

Обнаружение связей и сходства между различными объектами, которые в эмпирическом бытии культуры, казалось, не имели между собой ничего общего, несло в себе (в особенности на первых порах) огромный стимулирующий эффект. Куда бы ни падал взгляд исследователя, мыслящего в категориях научного языка семиотики, - везде перед ним проступали дотоле скрытые аспекты в строении культурного феномена и в характере его функционирования, - черты, которые данный феномен разделял со множеством других, в качестве закономерных составных частей единого, системно организованного целого. Мысль ученого устремлялась от эмпирической поверхности явлений к той отвлеченной форме, которую предмет принимал, будучи представленным в категориях семиотического кода. Чем большее число различных явлений удавалось соотнести со структурой кода - тем более разительным оказывался эффект преобразования смысла каждого из этих явлений и тем более широкие возможности открывались для закономерного включения их в единый механизм культуры. Из этого духовного опыта постепенно вырастал образ единого здания общечеловеческой культуры, построенного на основе единых конструктивных закономерностей, - здания, «план» которого, деталь за деталью, все более явственно обнаруживал себя в семиотических исследованиях. Даже мимолетного, поверхностного прикосновения к предмету инструментом семиотического анализа оказывалось достаточным, чтобы открыть в предмете неограниченные возможности его преобразования и

наметить план его освоения в будущем. Возникало неповторимое чувство легкости, неограниченных возможностей, отсутствия сопротивления материала и среды: своего рода ощущение «невесомости», обретаемой в герметически замкнутой среде.

Атмосфера Тартуского сообщества создавала идеальные условия для междисциплинарного общения и сотрудничества. Я уже говорил о том, что самосознание семиолога определялось не столько изначальной профессиональной принадлежностью, сколько общей интеллектуальной установкой. Все участники сообщества были специалистами в различных областях науки, но общение между ними происходило не на базе занятий в рамках отдельных профессий, а на базе общего языка. «Тартуский» историк литературы и лингвист, этнограф и музыковед находили больше стимулов в общении друг с другом, чем со своими непосредственными коллегами по профессии. Пестрый состав группы в такой же степени способствовал этому, как и общая психологическая установка на уход из «своей» среды, при которой приобщение к «чужому» несло в себе освобождающий и стимулирующий эффект. В сущности, деятельность каждого члена школы в этот период была непрерывным пересечением традиционных границ, перенесением своей работы в сферы, традиционно лежавшие за ее пределами.⁵ Поэтика и теории искусств (музыки, живописи, кино) ожидали кардинальных результатов от применения лингвистического аппарата, лингвистика устремлялась в сторону сближения с математической логикой, математики вдохновлялись восточной мифологией и средневековой живописью (описанными с помощью новейших методов). Пока лингвисты и литературоведы ассимилировали достижения биологии (в частности, принцип асимметрии полушарий головного мозга),⁶ биологи искали возможность применить такие лингвистические понятия, как «код», «оппозиция», «уровни структуры» и т. д., в своих исследованиях.⁷ Уничтожение границ между дисциплинами подчеркивало единство создаваемого семиотического здания. Чем более явственно отдельные секции этого здания оказывались связаны между собой, тем слабее ощущалась их связь с исследованиями того же предмета, внеположными этому зданию. Идеальное единство всей получаемой картины и в то же время идеальная ее закрытость, намеренное отстранение от внесистемной открытости и неоднородности мира и от эмпирической научной традиции как от внеположного хаоса - таковы были черты этой семиотической утопии.

В своем изложении я уже несколько раз употребил слово «утопия». Действительно, деятельность семиотической школы 1960-х годов заключала в себе явные черты утопического мышления. Можно

подчеркнуть такие характерные его признаки, как стремление к абсолютному синтезу, в котором все и всяческие явления получили бы закономерное соотношение друг с другом; тотальное мышление, преобладание общей цели над частными «эмпирическими» интересами; ощущение остановившегося времени, связанное с глобальностью цели, - отныне движение вперед должно было состоять в реализации начертанного плана, вплоть до полного его воплощения. Утопический синтез несет в себе черты откровения: приобщение к идеалу мгновенно и радикальным образом преобразует эмпирический мир из хаоса в упорядоченный космос. Этот эффект дает ощущение власти над эмпирическим миром: мы владеем материалом, а не материал владеет нами; посвященный чувствует себя освободившимся от «вязкости» жизненного процесса - освободившимся в сфере изучаемых явлений в такой же мере, как и в сфере окружающей его профессиональной среды и традиционной иерархии ценностей. Члены движения осознают себя как «братство» посвященных, объединяемых общим знанием и устремленностью к общей цели. Наконец, тотальность утопического мышления ведет к уничтожению границ между художественным или научным творчеством и «жизнью». Характерным образом, отличие семиологического жизнестроительства от, скажем, символистического состояло в том, что его предметом были не столько жизненные «тексты» как таковые, сколько язык, в котором эти тексты кодифицировались и получали осмысление. «Бытовое поведение» семиолога характеризовалось, прежде всего, тем языком, при помощи которого он мыслил, выражал себя и взаимодействовал с внешним миром.

Утопический характер семиотики 1960-х годов роднит ее с многими художественными и интеллектуальными движениями начала века - от символизма до деятельности ОПОЯЗ'а. В этом, конечно, нет ничего удивительного, поскольку семиотика и структуральная поэтика 1960-х годов генетически самым тесным образом связана с символистскими и постсимволистскими теориями поэтического слова, поэтикой формальной школы и структурной лингвистикой. Можно лишь отметить, что по сравнению с своими научными предшественниками семиотическая школа периода «оттепели» отличалась гораздо более радикальным стремлением к замыканию и интроспекции. Философские, эстетические и языковые идеи начала века были тесно связаны с современными художественными явлениями, с различными аспектами литературной и социальной жизни. Каким бы элитарно малочисленным ни было то или иное движение 1900-1920-х годов, сколь бы эзотерическими ни выглядели для современников его идеалы и его научный или художественный язык, - оно стремилось укорениться в современ-

ной культуре, утвердить себя в борьбе с предшественниками и с конкурирующими движениями.

В отличие от этого, усилия участников семиотического движения 1960-х годов направлялись на утверждение «имманентного» характера школы, ее внеположности по отношению к контексту. Социальная и культурная ситуация 1950-х годов - прерывание живой культурной традиции, разрушенной двумя предшествовавшими катастрофическими десятилетиями, и появившаяся возможность внутренней эмансипации, при сохраняющейся несвободе внешних условий существования, - служила благоприятной питательной средой для такого направления. Герметическая семиотическая утопия несла скорее эмансипацию, чем освобождение, она вдохновлялась образом идеально построенного и замкнутого убежища, а не идеально перестроенного и обновленного мира. Идея семиотического компендиума и попытка ее воплощения была одним из важных и характерных явлений, в которых воплотился дух эпохи 1950-60-х годов.

В семидесятые годы и внешние условия работы школы, и внутренние механизмы, приводившие ее в движение, начали постепенно изменяться. В условиях ухудшавшегося идеологического и культурного климата, эмансипация становилась все более затруднительной. «Летние школы» невозможно было больше проводить в прежней форме, и после 1973 года они прекратились; их заменили, с одной стороны, более широкие конференции, проводившиеся в разных городах, а с другой - постоянно действующие семинары, объединявшие более узкие и однородные группы специалистов. «Труды по знаковым системам» были резко сокращены издательством в объеме, что вызвало необходимость существенно изменить их характер: обширные междисциплинарные компендиумы сменились компактными монотематическими выпусками.

Однако этим внешним факторам соответствовала внутренняя логика эволюции как семиотических исследований в целом, так и отдельных ученых. Период первичного «освоения мира» в категориях семиотического языка завершился. Бесконечные пересечения традиционных границ и соположения объектов, на основе весьма поверхностного освоения их «субстанции», перестали приносить удовлетворение. Возникла потребность в более глубоком погружении в изучаемый объект и условия его существования в обществе. Это вело к распаду междисциплинарных притяжений и возрождению интереса к контексту, окружающему как бытие каждого предмета, так и традицию его изучения. Семиотическое сообщество теряло ощущение своей целостности и отъединенности от внешнего мира.

В задачу настоящей статьи не входит описание того, как семиотические исследования постепенно вырастали из своего первоначального состояния. Это был болезненный, но неизбежный и позитивный по своему содержанию процесс. Тем, кто привык к ощущению невесомости, нелегко было вновь привыкать к естественной тяжести и вязкости вещей, к отсутствию гарантированных границ обитаемого духовного пространства. Утопия 1960-х годов больше не существует в чистом виде; но осознание ее характера и двигавших ее сил необходимо для понимания многих черт современной науки и современного состояния культуры, выросших из почвы шестидесятых годов.

П р и м е ч а н и я

- ¹ См. изложение принципов школы в их историческом развитии в книге: Ann Shukman. *Literature and Semiotics: A Study of the Writings of Ju.M. Lotman*, Amsterdam-New York: North Holland Publisher 1977. Подробный обзор работ школы по поэтике и фольклору дан в статье: E. Meletinsky & D. Segal. Structuralism and Semiotics in the USSR. *Diogene*, No. 73 (Spring 1971), стр. 88-115. Непосредственные источники семиотических исследований в лингвистике названы в книге: Dimitri Segal. *Aspects of Structuralism in Soviet Philology*, Tel-Aviv University 1974 (*Papers on Poetics and Semiotics*, 2); вопрос о более отдаленных предшественниках семиотики рассматривается в работе В.В. Иванова: *Очерк истории семиотики в СССР*, М. 1976. Наконец, интересна попытка осветить историю Тартуской школы в категориях «дуальной» историко-культурной модели, предпринятая в статье: Б.А. Успенский. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы, *Труды по знаковым системам*, вып. 20, Тарту 1987, стр. 18-29.
- ² См. подробную библиографию трудов школы, доведенную до середины 1970-х гг.: Karl Eimermacher & Serge Shishkoff. *Subject Bibliography of Soviet Semiotics. The Moscow-Tartu School*, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications 1978.
- ³ Приведем некоторые примеры этого языка, выбранные почти наугад:

Мы будем описывать гадание на картах в двух системах терминов: сначала будут изложены полевые данные гадания через метаязык лингвистической терминологии (разд. 1), далее основные выводы будут описаны в терминах логической классификации семиотических явлений Пирса-Морриса (разд. 2). (М.И. Лекомцева, Б.А. Успенский, Описание одной семиотической системы с простым синтаксисом. *Труды по знаковым системам*, вып. 2, Тарту 1965, стр. 94).

Кетские религиозно-магические знаковые системы (RS) могут быть описаны посредством введения шести уровней раз-

личных объектов, выступающих как знаки-личности: I-RS, II-RS, III-RS, IV-RS, V-RS, VI-RS. Распределение объектов (знаков-личностей) по этим уровням и последовательность уровней определяются характером их моделирующей функции и степенью включенности в повседневные ситуации, степенью упорядоченности каждого из уровней, числом объектов каждого уровня и степенью открытости каждого уровня. (В.В. Иванов, В.Н. Топоров, К описанию некоторых кетских семиотических систем. *Ibid.*, стр. 119).

Наблюдая биполярную организацию на самых различных уровнях человеческой интеллектуальной деятельности, можно было бы выделить оппозиционные пары, в которых на одном полюсе будет преобладать дискретно-линейное, а на другом гомеоморфно-континуальное начало организации, и установить определенную параллель с левополушарным и правополушарным принципами индивидуального мышления человека. (Ю.М. Лотман, Феномен культуры. *Ibid.*, вып. 10, 1978, стр. 8).

Предлагаемый подход базируется на ряде исходных допущений, важнейшее из которых, - признание музыкального языка системой, реализуемой в музыкальной речи, то есть признание того, что множество наблюдаемых нами текстов представляет собой вторичное явление - манифестацию, как бы результат работы некоторого генеративного устройства, представляющего собой структуру. (Б.М. Гаспаров, К проблеме изоморфизма уровней музыкального языка (На материале гармонии Венского классицизма). *Ibid.*, вып. 7, 1975, стр. 217).

- 4 Универсальное определение культурных текстов, в их отношении к языку, было дано в классических работах А.М. Пятигорского и Ю.М. Лотмана начала 1960-х гг.: А.М. Пятигорский. Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала. *Структурно-типологические исследования*, М. 1962, стр. 144-154; Ю.М. Лотман. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры. *Вопросы языкознания*, 1963, No. 3, стр. 44-52; Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский. Текст и функция. *Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам*, Тарту 1968, стр. 74-88. См. также коллективный «манифест» семиотической школы: В.В. Иванов, Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский. Тезисы к семиотическому изучению культур (в применении к славянским текстам). *Semiotyka i struktura tekstu*, Warszawa 1973, стр. 9-32.
- 5 Приведем заглавия некоторых работ, опубликованных во втором выпуске *Трудов по знаковым системам*, с тем чтобы дать представ-

ление о спектре интересов и общения участников семиотической школы:

А.М. Пятигорский, Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения психолога; Б.Л. Огибенин, К вопросу о значении в языке и некоторых других моделирующих системах; В.А. Зарецкий, Ритм и смысл в художественных текстах; Б.А. Успенский, Предварительные замечания к персонологической классификации; Б.Ф. Егоров, Простейшие семиотические системы и типология сюжетов; Т.В. Цивьян, К некоторым вопросам построения языка этикета; Д.М. Сегал, Опыт структурного описания мифа; И.А. Чернов, О структуре русского любовного заговора; В.Н. Топоров, К семиотике предсказаний у Светония; Ю.М. Лотман, О понятии географического пространства в древнерусских средневековых текстах; В.Н. Топоров, Заметки о буддийском изобразительном искусстве в связи с вопросом о семиотике космологических представлений; Б.А. Успенский, К системе передачи изображения в русской иконописи; М.М. Ланглебен, Описание системы нотной записи; Е.В. Падучева, О структуре абзаца; Ю.И. Левин, Структура русской метафоры; С.М. Толстая, О фонологии рифмы; Д.М. Сегал, Т.В. Цивьян, Структура английской поэзии нонсенса; М. Данилов, Ю. Либерман, А. Пятигорский, Д.Сегал, Б. Успенский, Предварительное сообщение об опыте семиотического исследования речевого потока под действием мескалина.

⁶ В.В. Иванов. *Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем*, М. 1978.

⁷ Конференция на тему «Биология и лингвистика» состоялась в Тарту в 1978 г.